



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 8
volume 8**

**Центр
«Петербургское Востоковедение»**

**Санкт-Петербург
1996**

Сам И. Ю. Крачковский говорит об этом лаконично и сдержанно: «при всяком строе не всегда легко добиться правды», а дальше высказывает «мысль о больших ненормальностях в нашей прессе и в нашем строе». Последняя фраза, несомненно, могла бы стоить ему жизни, попади она на глаза услужливому «патриоту», но этого он не боялся, считая, очевидно, что жизнь все равно проиграна и осталось от нее уже немного. Опорой ему были ничем не замутненный голос собственной совести и здравая оценка объективной значимости того, что ему все-таки удалось сделать в науке.

В одном он был неправ — опасаясь полной победы «мастеров шулерского жонглирования» расхожими лозунгами и провокационными вопросами: «подтасовкой и софизмами эти люди могли вызвать недоумение у того, кто был мне дорог, однако не знал всего, что я знал, что не всегда мог сказать публично». Ход событий показал, что ни один из тех, кто был И. Ю. Крачковскому дорог, на провокацию не поддавался, таков был моральный авторитет учителя.

К счастью, еще одно опасение И. Ю. Крачковского не оправдалось — на счет судьбы его научного наследия, которое «некому передать»; ему представлялось, что оно «в лучшем случае ляжет сырой грудой навечно в архив». Годы, прошедшие после его кончины, опровергли этот мрачный прогноз: изданы и «История арабской географической литературы», и исследование поэтики Ибн ал-Му'тазза, и Коран с комментариями, и некоторые переводы арабских писателей XX века, и еще ряд отдельных статей, не говоря уж о переиздании многих работ в шеститомном собрании «Избранных сочинений». Меньше всего повезло христианско-арабской тематике: изданное когда-то — почти забыто, неизданное не вышло пока за пределы архива; полагаю, теперь настало время и для нее.

Крачковский писал, что он почти уверен в печальном будущем своих трудов. Почти... значит, надежда все-таки теплилась? И, слава Богу, не обманула. Жизнь подтвердила, что подлинная наука бессмертна.

Испытание временем Мысли к 45-летию научной работы

Довольно... довольно... довольно!

Тургенев

I

Занимаясь историей науки, постепенно приучаешься смотреть и на себя самого как бы со стороны, если не *sub specie aeternitatis**, то, во всяком случае, *sub specie historiae***. Однако достичь в этом действительно исторического подхода далеко не так легко: соблазнительно сделать себя центром всего построения и показать, что твоя

* С точки зрения вечности (лат.).

** С точки зрения истории (лат.).

личность является идеалом учености, что именно ей обязано все движение в определенный период, в определенных областях, и если тебя не признали звездой первой величины, то лишь из зависти. Это свойственно не только ученым. Известный театральный деятель В. И. Немирович-Данченко в сборнике, посвященном Чехову, писал: «Один из самых больших грехов воспоминаний, если рассказывающий смешивает, когда что происходило, и ему кажется, что все-то он великолепно предвидел»¹. Иногда это просто самообман, от которого отрешиться очень трудно, а иногда — свойственное всякому человеку, особенно в молодости, стремление «покрасоваться». Если оно с годами не проходит, тогда одна могила исправит этот органический недостаток. Найти здесь «меру вещей» нелегко и потому, что так же трудно отрешиться и от другой крайности: от подавленности, которую вызывает быстрое движение науки, когда свой вклад в нее при общей перспективе кажется ничтожным и незаметным, эфемерным и сразу устаревшим.

Думается, что в выработке правильного масштаба, необходимой «меры вещей» и помогают занятия историей науки. При каком-нибудь органическом пороке зрения и они, конечно, не спасут, но без них едва ли достижимо хотя бы слабое приближение к истине. Оглядываясь во время этих занятий на отдельные даты, бросая ретроспективный взгляд на периоды, иногда вдруг с изумлением видишь, что и сам ты наполовину отошел уже в историю, что этапы твоей работы приходится считать десятилетиями, что близко сорокапятилетие научной работы, а скоро и полвека с той поры, как впервые ты прикоснулся к основному материалу этой работы — памятникам арабского языка. Подводить какие-то итоги, хотя бы и в субъективном порядке, не для оглашения при жизни, надо: ведь с точки зрения «действителя» этого не может сделать, при всем добром желании, никто другой. Исторический период частично прошел, испытанию временем подверглись и твои работы, и ты сам. Жутко иногда делается от быстрого движения времени и его необратимого хода, чувствуешь, когда встают такие цифры годов, что времени остается мало, и вспоминаются невольно мудрые слова одного известного врача, который, как бы в ответ на приведенную мной в книжке арабскую пословицу «Увеличивать хорошее хорошо», сурово и властно писал мне — «торопитесь делать добро».

Часто ко всяким итогам влекут внешние поводы — какие-либо даты, но всегда важнее их внутренние стимулы, связанные, например, со сменой тем в определенные периоды жизни ученого, а иногда и с переменой в самой деятельности. Известный исламовед, занявший в возрасте сорока лет министерский пост, который, как он знал, неизбежно оторвет его от науки, поспешил издать в двухтомном сборнике свои разбросанные статьи². Не меньшую роль играют, как побудители к таким итогам, вольные и невольные антракты в работе, что случилось со мной очень резко в 1922 г.³ и бывало часто во вре-

мя длительных, периодически повторяющихся болезней. Многие факты толкают к моментам депрессивных итоговых раздумий, неизбежных во всякой серьезной честной работе. Мотивы тургеневского «Довольно» хорошо знакомы не только творцам высоких произведений искусства, но и добросовестным ученым. Когда в бумагах покойного академика С. А. Жебелева⁴ нашли после его смерти «автонекролог» с принципиальным введением, обосновывавшим его, многим это показалось стариковским чудачеством, но, конечно, он отражал только знакомую всякому ученому потребность самооценки, которая представляется ему материалом часто большей объективности, чем то, что пишут и будут писать о нем другие. И в этом, может быть, заключена некоторая доля самообмана, но в то же время значительная доля истины.

Важным этапом для таких периодических итогов, полностью отразившихся на бумаге и в печати, что случалось редко, был для меня, как и для многих, период эвакуации из Ленинграда в 1942—1944 гг. Итог этот, однако, шел лишь в общем разрезе и подведен лишь частично, по одной линии⁵. В нем освещалась роль рукописей в моей жизни и научной деятельности, а они являлись только одним фактором из многих, направлявших ее, фактором далеко не единственным. Все же книга часто подводила и общий итог, являясь своеобразным *profession de foi*^{*}, построенным, как мне казалось, на стержне, определявшем в известные периоды всю мою работу. Сторонняя оценка книжки значительно превзошла мою собственную, а это бывало со мной в научной жизни далеко не всегда. Со многим, что говорилось по поводу ее, я не мог не согласиться, хотя мне самому это не всегда приходило в голову. Если в этой книжке я писал, что в моем печатном наследии мне особенно дороги четыре работы⁶, теперь к ним надо прибавить и пятую. Такой подсчет как будто бы говорит, что меня влекли преимущественно вопросы текстуальной критики и истории науки, которым, в основном, и посвящены эти пять книг.

Однако мне дороги не только крупные по объему работы. О некоторых мелких, которые я ценю, была речь в той книжке, но это далеко не все. Если «арабский документ» из Согдианы⁷ по праву вошел в «рукописную» серию, то «Послание о прощении» Абу-л-Аля⁸ затронуту лишь попутно, так же как и этюд о поэзии ал-Ахталя⁹. Между тем с точки зрения методической, а частично и в аспекте воздействия на развитие науки, их роль не меньше. И опять мое мнение в этом не одиноко, а поддерживается сторонней, авторитетной для меня оценкой.

II

Сторонний суд я далеко не всегда считаю непогрешимым: этому меня научила та же история науки и опыт собственной длительной работы. Талантливый и мудрый ученый Л. В. Щерба¹⁰ говорил,

* Исповедание веры (франц.).

что относительно каждого ученого существуют самооценка и общественная оценка; иногда они совпадают, но чаще расходятся, притом не только количественно, но и качественно, нередко и по существу. Испытание временем обыкновенно отдает преимущество первой, что понятно не только психологически. Пушкин недаром внушал поэту: «Ты сам свой высший суд», и это применимо к большинству представителей творческого труда в разных областях.

В моей научной биографии бывали разные соотношения этих оценок и разные периоды этих соотношений. Показательно одно — в тех случаях, когда я, очень часто только интуитивно, чувствовал значение вставшей передо мной темы и работал над ней с подъемом, не задумываясь о требованиях минуты, результаты быстро входили в мировой обиход, если не было стихийных перерывов сношений, и признавались положительно везде. Уже упомянутая книжка тому пример, но таков же бывал отклик и на более мелкие по объему специальные произведения. «Арабский документ» дал повод назвать меня историком¹¹, хотя я и теперь продолжаю видеть в этом увлечение, но эпохальную важность памятника и правильность его оценки в первоначальной расшифровке вполне признаю. Выяснение руководящей идеи «Послания о прощении» Абу-л-Аля в маленькой статье послужило одним из поводов к избранию меня в почетные члены авторитетного научного объединения, как об этом сказано в соответствующем дипломе¹². Тот ученый, вразрез с мнением которого был выдвинут основной тезис¹³, не мог с ним не согласиться, а в первом вышедшем после войны номере «Revue des Études Islamiques» первая статья начиналась с упоминания этой работы¹⁴, с которой автор связывал свою новую монографию. Я был очень тронут, когда по поводу статьи об ал-Ахтале, помещенной в юбилейный сборник в честь Г. Якоба¹⁵, этот 70-летний, очень своеобразный, очень резкий всегда ученый отзывался, что она доставила ему наибольшее удовольствие во всей книге, а мне прислал своеобразную рецензию с рядом интересных соображений и дополнений. Что отзыв не был формой простой вежливости, я в этом убедился, когда познакомился с другими рецензиями. Оказалось, что юбиляр большинство поднесенных ему статей подверг язвительному разбору¹⁶, а одному ученому земляку показал воочию, как весь метод его работы построен на фальшивом основании и не отражает тех приемов, которые Якоб систематически проводил в своих трудах. Моя статья и для араба Сальхани, который полвека работал над произведениями того же поэта, показалась интересной по методу¹⁷.

Так было, конечно, не всегда; очень часто самооценка и сторонняя оценка резко расходились, ставя под сомнение смысл всей моей работы. Мне казалось, что при доброй воле и неизбежных в науке разногласиях в тех или иных мнениях последнее все же не должно иметь место. Во всяком случае, при своей хотя бы и субъективной, но постоянной искренности в работе я не заслуживал тех грубых окриков,

издевательств, а часто даже инсинуаций, которые в разное время выпадали мне на долю в печати и в устных отзывах. Впервые это пришлось испытать с книжкой о Рейхани еще в 1917 г.¹⁸; повторилось это, хотя и не в печатном виде, с дорогой для меня работой о Тантави в 1930 г., издевательски был встречен посвященный мне сборник статей в том же, 1930 г.¹⁹, в ухарском стиле разделали список моих работ в 1936 г.²⁰. Повторяется это и до последних дней.

Но еще хуже, чем простое невежество, непонимание и нежелание признавать что-либо помимо своих собственных теорий и взглядов, бывало обвинение меня в опасных мыслях и прямых преступлениях. Я никогда не отказывался от своих взглядов и не скрывал их, хотя иногда они расходились с принятыми в государственной теории своего времени. Я никогда не старался казаться тем, чем не был, и охотно готов согласиться, что я — отсталый ученый, но я всегда чувствовал себя честным работником и думаю, что моя работа пошла на пользу государству, народу и человечеству. Все такие обвинения были основаны на недобросовестном искажении моих работ, даже провокации. Когда удавалось добиться, чтобы меня выслушали честно, обвинения падали как карточные домики. Так было и в тот раз, когда мне грозили смертной казнью²¹. Смерти я не боялся, это спасло меня от ложных показаний и в конце концов дало победу, но оставило следы на всю жизнь, показав, что при всяком строе не всегда легко добиться правды.

Я очень страдал, когда меня вовлекали в борьбу и ставили перед необходимостью ответа недобросовестные люди, которым для своих целей надо было меня дискредитировать, а то и совсем убрать с дороги. Выступая против них, доведенный до последней крайности, я всегда чувствовал себя, как честный игрок, вынужденный сесть за карточный стол с заведомым шулером, который, конечно, его обыграет. Так обыкновенно и бывало.

Для меня это не имело существенного значения. Самосознание и голос своей совести никогда меня не покидали и не обманывали, даже в тех случаях, когда провокация или интерпретация-фальшивка были построены очень умело и искусно. Я всегда обладал сильно развитым чувством этического тона в каждом человеке, несмотря на всю маскировку велениями тактики и политики. Как музыкант с абсолютным слухом, я сразу болезненно ощущал фальшь в моральном облике индивидуума, кто бы он ни был — мой ученик, простой человек или видный академик. Тем более я страдал, когда судьба сталкивала меня с людьми аморальными. У меня было то, что одна моя корреспондентка под сердитую руку в аналогичном случае назвала «чутьем на жуликов»²². Иметь с ними какое-либо дело мне было противно, а высказываемые ими суждения для меня не существовали; отвечать на них я не мог.

Но мне бывало больно, когда подтасовкой и софизмами эти люди могли вызвать недоумение у того, кто был мне дорог, однако не

знал всего, что я знал, что не всегда мог сказать публично в ответ на провокационный вопрос. Последнее слово часто оставалось за этими мастерами шулерского жонглирования и опять вызывало мысль о больших ненормальностях в нашей прессе и нашем строе. Пред такого рода критикой я всегда чувствовал себя беспомощным, и часто перед глазами у меня вставала поразившая в детстве картина грубого сапога, который бессмысленно растоптал бережно, с большими усилиями выращенные цветы. Этому я ничего не мог противопоставить, кроме продолжения своей работы. Для меня мог быть решающим только суд своей научной совести по старому принципу: «Я расскажу врагам свою жизнь шаг за шагом, а потом пусть они расскажут свою». Я не был никогда борцом по своей натуре и только в молодости иногда подпадал под влияние полемического задора и связанного с ним стиля, который быстро и на всю жизнь стал мне глубоко антипатичным. Я убедился, что поднять уважение к чужому труду и к малопопулярной специальности или темам можно не одиночными усилиями или хлесткой полемикой, а только общим подъемом культуры.

Две случайные иллюстрации этого запомнились мне на всю жизнь. В год окончания гимназии мне пришлось раз беседовать с хорошим знакомым нашей семьи, директором Мариинского высшего женского училища, который когда-то мечтал о научной дороге и одно время готовился в Петербурге к занятию университетской кафедры по агрономии. Материальные условия заставили его на всю жизнь остаться педагогом средней школы. На его вопрос, куда я предполагаю поступить по окончании гимназии, я назвал Факультет восточных языков и после некоторого раздумья собеседника выслушал хладнокровную реплику: «Да, бывают люди, которые всю жизнь готовы собирать пробки от шампанского». На этом наш разговор о специальности и кончился, но долгие годы, можно сказать — до последних лет, мне приходилось выслушивать, иногда в очень близкой формулировке, оценку своих занятий нередко даже от коллег по Академии наук. Рядом с пробками мне вспоминается, по счастью, и другая картинка. Летом 1916 г. молодым приват-доцентом я жил в небольшом пансионе около Кексгольма, в тогдашней Финляндии. Владелец его, местный уроженец финн, друг детства и сосед известного композитора Мелартина²³, сам прошел только начальную школу и говорил только на родном языке. Человек сдержанный, он был по-своему внимательным и вдумчиво присматривался к постояльцам. Раз через свою дочь, ученицу средней школы, немного знакомую с русским языком, он осведомился, что я преподаю в университете. Не без некоторого смущения, которое всегда мной овладевало при аналогичных вопросах, я назвал себя арабистом и, зная по опыту, что это может вызвать или недоумение, или даже иронию, стал объяснять, чему посвящена моя область. Однако угрюмый финн, утратив обычную сдержанность, как-то оживился и куда-то исчез, желая, по словам дочери, что-то показать. Через минуту он вернулся с очень хорошей копией известного нахо-

дившегося в Гельсингфорсе портрета Валлина²⁴ и с торжеством сказал: «И у нас был свой арабист, который сделал много открытий». Его торжество стало полным, когда я мог подтвердить, что хорошо знаю и ценю работы Валлина. Эта параллель в отношениях к арабистике финна без всякого образования и кандидата в профессора, который при упоминании о ней не мог найти никаких ассоциаций, кроме шампанских пробок, тогда глубоко поразила меня.

И впоследствии сочувственный отклик приходил иногда с совершенно неожиданной стороны; раз я был поражен, когда одна вдумчивая читательница моей книжки напомнила мне мудрые, как всегда, стихи Тютчева:

Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать²⁵.

Полемика казалась мне очень часто бесплодной еще потому, что причины, вызвавшие оценку и моих работ, и всей деятельности, представлялись мне нередко основанными на какой-то непонятной аберрации, с которой нельзя бороться словами, а надо лечить другими средствами. Для меня остается и теперь тайной, почему Президент Арабской академии в Дамаске печатно зачислил меня в категорию тех арабистов, как Лямменс, Марголиус, Каэтани и Хартманн, которые, по его формулировке, ставят своей целью унижение арабов и насмешку над их святынями²⁶. Я не думаю, что такая суммарная оценка моей работы вызвана лишь тем, что я когда-то разошелся со столь же безапелляционно данной им характеристикой работ арабистов испанской школы²⁷. Меня могло утешить то, что тогда к моему мнению примкнули некоторые серьезные представители арабской литературы и критики, а через много лет испанский ученый, вызвавший мою реплику, был избран членом Арабской академии при том же самом Президенте.

Во всех аналогичных оценках, большей или меньшей остроты, и русских и зарубежных, время обыкновенно оправдывало меня. Это подтвердилось и на изучении Рейхани и Абу-л-Аля, и тем из истории науки, которые один из моих академических коллег назвал бесплодным гробокопательством, только отвлекающим от настоящей науки. Моей инстинктивной реакцией на все такие отзывы у меня всегда являлась не борьба и не полемика, а только усиление работы, как я ее понимал. Только она давала мне успокоение и помогала в конце концов, иногда с большим трудом, восстановить нарушенное равновесие, нужное для всякого серьезного труда.

III

Худо было то, что в связи с аналогичными оценками, которые в отдельные периоды получали господство и влекли далеко идущие

выводы, иногда мне приходилось оставлять занятия не только частными темами, но и целыми областями. Это было худо не только для индивидуального ощущения, которое можно сравнить с тем, когда лишаешься руки или хотя бы одного пальца. Остается ведь девять, могут сказать, но полной свободы действия уже нет, и это отражается на всех остальных, хотя жить и как-то работать, конечно, можно не только без пальца, но и без целой руки.. Худо было то, что такой принудительной ликвидацией наносился непоправимый вред всей нашей науке. В данной области она оказывалась за бортом мирового прогрессивного движения, и мы начинали неминуемо отставать. Больно было это чувствовать, когда именно в такой области мы могли быть особенно сильны, могли открыть и внести в мировую сокровищницу многое. Так случилось, например, в моей работе над христианско-арабской литературой, и даже попытки исключительно боевой и энергичной натуры Н. Я. Марра²⁸ сохранить эту линию оказались бесплодны. Здесь мы вышли из строя ко вреду для всей нашей науки, нашей страны.

В труде меня поддерживали всегда не внешние успехи, которые часто выпадали мне на долю среди ученых, иногда среди обычных читательских кругов, а инстинктивная самооценка, основанная не столько на логических рассуждениях, сколько на чувстве. Занятия историей науки, как мне казалось, позволяли найти здесь правильный путь, предохранив от показного самоунижения в такой же степени, как от ложной гордости. Поэтому мне думается, что иногда я лучше других понимаю как значение, так и недостатки своих работ.

Относительно крупнейшей из них, посвященной ал-Вава дамасскому, я готов согласиться с мнением Гибба, что она могла бы «произвести революцию» в истории арабской поэзии, если бы с ней своевременно познакомилась Западная Европа²⁹. Она вышла в свет в начале первой мировой войны и только в середине двадцатых годов начала туда просачиваться. Для Шааде она явилась откровением по некоторым вопросам арабской метрики еще в середине тридцатых годов³⁰. Все это я вполне признаю, но все отзывы могу относить только к вводу к исследованию, тогда как с критическим изданием текста я попросту не справился, а перевод, не говоря уже про неудовлетворительность и ошибочность многих мест, выполнен без соблюдения тех приемов техники, которые мне с начала двадцатых годов и стали казаться элементарно необходимыми. Это и почувствовали и дали мне понять тогда же такие далекие от арабистики, но очень тонкие ученые, как историк восточного искусства Я. И. Смирнов³¹ и философ Э. Л. Радлов³². Издание текста и перевод «Послания об ангелах» мною отделаны очень старательно и детально; я не думаю, что в них можно внести много поправок, однако, чувствуя немало непонятных мне соотношений, я не проследил их до конца и не додумался до того, что это лишь предисловие к большому грамматическому трактату Абу-л-Аля, как выяснилось через много лет во время

его юбилея, когда впервые нашлась новая полная рукопись. Я хорошо сознаю, что издание по одной рукописи трактата о поэтике Ибн-ал-Мутацца было делом нелегким³³ и впервые доставило надежную базу для всей истории арабской поэтики, но работа осталась только фрагментом широко и серьезно обдуманного плана, который я не сумел осуществить в печати. Я не отрицаю, что «открыл» шейха Тантави и для нас, и для арабов, однако «Описание России», лучшая из его работ, так и осталась не опубликованной и не переведенной до сих пор³⁴.

Когда я вспоминаю эту «братскую могилу» неосуществленных планов, мне иногда делается жутко и невольно хочется повторить последние горькие слова Шалапина: «Не удалась жизнь, не удалась!» Строго говоря, только одно из многочисленных широко задуманных намерений — дать характеристику значения рукописей в моей научной жизни — воплотилось полностью в действительности³⁵. Книга была не только достаточно быстро закончена в намеченном плане, но и напечатана.

Причин такого печального результата было, конечно, много. Очень часто внешние обстоятельства не давали мне выполнить план или заставляли совершенно от него отказаться, особенно когда надо было думать самому об устройстве будущей работы в печать, чего я никогда не умел. Вероятно, при большей энергии я мог бы преодолеть внешние препятствия, но им помогала некая внутренняя предрасположенность к многообразию тем, вызванная определенно аналитическим, а не синтетическим складом научного темперамента: он влек все вперед к отдельным, внешне не связанным между собой, мелким, а не крупным работам. Иногда мне кажется, что я не способен к большим работам. Ал-Вава говорил, по-видимому, о противном, и возможно, что, если бы в 1917—1918 годах мне удалось напечатать работу о поэтике Ибн ал-Мутацца в том виде, как она тогда была написана с мечтами о докторской диссертации, моя научная работа могла бы постепенно дисциплинироваться в сторону большей сосредоточенности. Этого не случилось, вскоре мне пришлось оставить таким же образом и мысли о работе над Макарием Антиохийским³⁶, ни одно из больших полотен не было закончено, и все толкало к постоянной разбросанности в мелких работах, неизбежно мешавших углублению и завершению начатого. Виновата в этом и другая особенность научного темперамента, своеобразная «жадность к темам», когда не только в молодости, но и в старости хочется охватить все шире то, что кажется входящим в твою специальность. Очень рано была осознана мною обязанность нашей науки откликаться на всякие новые явления; наряду с ними запросы извне, иногда буквально со всего света, шли чаще и чаще, почти каждый требовал отвлечения от хода своей работы к новому сюжету, иногда совершенно не связанному с предшествующим.

Аналитичность научного темперамента объясняет и выбор, и постепенный рост моих тем. Некоторые главы книжки о рукописях показывают это ясно, в них видно, какую роль играла внешняя случайность. Объяснение случайностью, однако, неточно, потому что внутренний отклик находило лишь то, к чему была не только склонность, но и какая-то часто неосознанная подготовка. В результате своеобразной эмоциональности, а не рациональности работы возможность выполнения какого бы то ни было плана — своего или намеченного в общем порядке — осуществлялась только тогда, когда он все время совпадал с внутренней потребностью. И здесь, как во многих других случаях, я убеждался в родстве научного и художественного творчества.

В своей области об этом в последнее время, подводя итоги полувековой деятельности, высказывался Н. Телешов, достойный представитель звезд второй величины из славной плеяды Чехова и Горького.

«Сохранить свою индивидуальность, свое лицо в искусстве — будь то литература, музыка, живопись, сцена — считалось большими мастерами искусства в минувшее время очень существенным и важным. С этим пришли к нам Щепкин и Станиславский, Глинка и Чайковский, Репин и Левитан, Толстой и Горький. Никто из них не угождал временным требованиям сторонних судей или казенным вкусам чиновного влияния»³⁷.

Показательно, что два наших великих писателя-классика одновременно семьдесят лет тому назад характеризовали свою работу в таких выражениях, которые могут быть отнесены и к научной. В предисловии к первому собранию своих романов в 1879 году Тургенев по поводу предлагавшихся ему в разное время тем высказался резко и определенно: «Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют»³⁸. В том же году Гончаров опубликовал свою статью «Лучше поздно, чем никогда», которая по первоначальному плану должна была служить предисловием к первому изданию «Обрыва» еще в 1870 году. Его мысль развита спокойнее и полнее: «Последний вопрос: зачем я не писал и не пишу ничего другого?

Не могу, не умею!..

Напрасно тоже некоторые предлагали мне задачи для романа. "Опишите такое-то событие, такую-то жизнь, возьмите тот или другой вопрос, такого-то героя или героиню!"

Не могу, не умею! *То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало»*³⁹.

Так и я мог писать только о том, что чувствовал, что знал, что органически входило в мою жизнь. Иногда я пытался делать усилия

и писать о том, к чему у меня не было внутреннего влечения. В лучшем случае получались грамотные, но шаблонные работы, всегда с эфемерным значением.

IV

Рост тем, расширение основных линий своей работы, по существу немногочисленных, зачастую в отдельные моменты объяснялось действительно случайностью. Для основательного суждения об этом полезно присмотреться к первым научным шагам сорока-сорокапятилетней давности, где историческая перспектива помогает теперь большей отчетливости картины в целом.

Моей первой печатной работой востоковедного характера была рецензия на книжку профессора Московской Духовной Академии С. Глаголева об исламе⁴⁰, которую я приобрел случайно, увидав в витрине книжного магазина Вольфа осенью 1904 г., студентом IV курса. Книга в некоторых отделах стояла значительно выше уровня многих аналогичных произведений, возникших в той же среде, но мне, недавно вкусившему арабского текста биографии Ибн Исхака⁴¹, с одной стороны, учебников Крымского⁴² и только что вышедшей работы Гримме об Аравии⁴³ — с другой, она казалась отставшей от науки. Однажды в разговоре с университетским товарищем И. А. Беляевым, который вернулся из летней студенческой командировки к каракалпам в Ср[еднюю] Азию и был полон ташкентских впечатлений, я как-то рассказал о новой книжке. Он загорелся тем, что может доставить нового «столичного» сотрудника для «Туркестанских ведомостей», которым летом обещал помочь, и убедил меня написать рецензию, соблазняя преимущественно тем, что редактор, известный тогда местный деятель Н. П. Остроумов⁴⁴ даст даже отдельные оттиски. Не скрою, что это главным образом и соблазнило меня. Оттиски я действительно получил и немало был горд, когда статья неведомым мне путем быстро докатилась до составителей известной «Orientalische Bibliographie», где, как помеченная неполной фамилией, оказалась приписанной Крымскому⁴⁵. Бартольд⁴⁶ по своему обыкновению отнесся к ней сурово. Про это я узнал от того же И. А. Беляева, бывавшего в те времена у него на дому; он ставил в укор главным образом то, что рецензия была основана на старых пособиях. Иначе и не могло быть, так как о текущей научной литературе в этой области студентами мы ничего не слыхали. Тон моей рецензии звучал неприятно, и я не сразу от него освободился, только постепенно усвоив принцип, который впоследствии я услышал от всегда его проповедовавшего С. Ф. Ольденбурга⁴⁷: *suaviter in modo, fortiter in re* *.

Никакого начала исламоведческой линии в моих занятиях эта первая, действительно случайная работа не заложила, и, кроме не-

* По способу мягко, а по существу жестко (лат.).

скольких мелочей, к исламоведению я никогда печатно не обращался⁴⁸, хотя как читатель по мере возможности за ним следил. С первых шагов своей востоковедной работы я старался никогда не делать того, что другие могут сделать лучше, а дарование и подготовка в этой области А. Э. Шмидта⁴⁹ мне быстро стали ясны. Только в 20-х годах в связи с нуждами преподавания я подошел вплотную к вопросу коранической текстологии, но и здесь до сих пор реально ничего серьезного не выполнил⁵⁰.

В противоположность этому с самого начала определилась у меня одна область, которую довольно долго я мечтал считать своей специальностью, — история христианско-арабской литературы. К ней влекли меня самые разнообразные факторы, и в первую, может быть, очередь занятия Абиссинией у Тураева⁵¹ еще со второго курса университета, когда очень быстро, так сказать на практике, мне стала ясна органическая связь обеих областей, во всяком случае по одной линии. Смутно пробуждавшийся одновременно интерес к живым арабским диалектам направлял сюда же — в языке ранних памятников христианской письменности, не сглаженных кораническими нормами, вульгаризмы лежали, можно сказать, на поверхности. Крупные работы Марра⁵² и Васильева⁵³, которые появлялись как раз, когда я был в университете, говорили о широте этой области, ее многообразных интересах и связях. Нужен был только внешний толчок, чтобы определенно сосредоточиться на этой специальности, и он не заставил себя ждать.

Около 1904 г., с целью оживить несколько хиревший после Васильевского «Византийский временник»⁵⁴, в академических сферах, главным образом по инициативе Розена⁵⁵, решено было расширить в журнале части, посвященные христианскому Востоку, в первую очередь периодическую полугодовую библиографию. По арабской линии, после не совсем удачного опыта обращения к итальянцу Габриэли⁵⁶, который не уловил основного стержня — выделения работ, связанных с линией христианской литературы, Розен посоветовал редактору профессору Регелю⁵⁷ пригласить меня, бывшего тогда на последнем курсе факультета. Библиография всегда меня привлекала, и я с большой радостью взялся за работу. Она оказалась исключительно полезной и в известной мере определила мои интересы на очень длительный срок. Моим вторым печатным произведением и явилась связанная с библиографией рецензия на работу бельгийца Пеетерса⁵⁸; рецензия была написана в достаточно зазорном стиле, т. к. я уловил в статье ошибочные поправки к работе Марра об одном христианско-арабском тексте⁵⁹. Мне показалось, что задета честь нашей науки, и в связи с этим у меня появился учительный тон, который звучал, вероятно, довольно комично в устах 22-летнего новичка на научном поприще. Когда через три года после этого я встретился с Пеетерсом в Бейруте, мы оба рассмеялись, и он покался, что считал

меня по рецензии старым ученым; отношения у нас на долгие годы установились очень хорошие.

Постепенно работа над христианско-арабской литературой раскрыла передо мною богатство наших собраний в этой области. Расширению горизонта в ней способствовало пребывание в Ливане и знакомство с крупнейшим знатоком ее, бейрутским профессором Л. Шейхо⁶⁰. Я убеждался все больше и больше в плодотворности этой линии для нашей науки и нашей страны. Кое-что в этом направлении было мною сделано, и мне думается, что здесь я достиг бы серьезных результатов, но от занятий этой литературой уже с начала 20-х годов пришлось окончательно отказаться. Это, говоря словами Усамы, «осталось раной на всю мою жизнь»⁶¹, в первую очередь именно потому, что здесь я чувствовал большую мощь нашей науки, как чувствовали это и Тураев, и Марр. Работа о Макарии, приезжавшем в Россию в XVII в., осталась у меня только в набросках⁶², не удалось осуществить и задуманный в связи с нею каталог христианско-арабских рукописей наших собраний. Только «индексообразный» перечень их был напечатан мною по-арабски в том же Бейруте⁶³, где когда-то я впервые погружался в аналогичные памятники.

На старости лет злая ирония судьбы как бы завершила эту линию моих работ. В связи с первым библиографическим обзором в «Византийском временнике» мною тогда же были напечатаны две рецензии на работы начинающего немецкого специалиста в этой области Георга Графа⁶⁴. В противоположность Пеетерсу он хуже меня был подготовлен к занятиям ею, и все отклики на эти книжки совпали с моими в их оценке. Однако это не разочаровало автора, он продолжал неустанно трудиться и с течением времени стал одним из крупнейших знатоков христианско-арабской литературы. Им были выпущены солидные каталоги римских и каирских собраний, а во время второй мировой войны он приступил к изданию четырехтомной истории христианско-арабской литературы⁶⁵, которая обещает представить в своей области основательную параллель к известному справочнику Брокельманна⁶⁶. Систематически и не отрываясь, несмотря на все препятствия, он подготовил то, о чем мечтал и я, когда начал свою работу почти одновременно с ним и сердито его критиковал. Так и здесь, «критика» оказалась легкой и малопродуктивной, а в «искусстве» Граф далеко превзошел меня после настойчивой 45-летней работы.

V

Приблизительно в то же время, в 1905—1906 гг., сформировалась и вторая линия моих работ, которая сохранилась до настоящего времени, — изучение арабской поэзии. К ней я был подведен своим студенческим конкурсным сочинением на медаль. Тема была предложена скорее историческая — Правление халифа ал-Махди⁶⁷, — и ре-

шить задачу в этом уклоне я не сумел, отчасти потому, что захватил материал слишком широко и не мог с ним справиться в назначенный срок, но главным образом по недостатку опытности в большой исторической работе. Полутораговые систематические занятия над одной темой были для меня во всяком случае крайне полезны в смысле ознакомления с разнообразными источниками. Бартольд, по существу признавший некоторые положительные стороны моей работы, все же в разговоре со мной, в свойственной ему резкой манере, своим отзывом несколько расхолодил меня к историческим занятиям; с того времени я стал определенно ограничивать себя историко-литературным подходом, хотя впоследствии мне передавали, что он высказывал сожаление, почему я не занимаюсь историей, и даже подчеркнул это несколько в своем отзыве при избрании меня в Академию наук со строгим любимым им объективизмом. Конечно, я не вышел историком не только от резкого замечания Бартольда по поводу моего студенческого сочинения.

Работая над своей медальной темой, я обратил внимание на одного поэта, связанного с той эпохой, Абу-л-Атахию⁶⁸, и, по своей системе, постарался вместить в одно примечание весь собранный мною о нем материал. В частности, мне казалось, что в европейской литературе мало замечена и оценена одна сторона его поэтического творчества в молодости. Розен, добровольно являвшийся «неофициальным» рецензентом моего сочинения, согласился с моей мыслью и посоветовал обработать экскурс сперва для доклада в Восточном отделении Археологического общества, с чего начинали все молодые востоковеды, а затем и для печати в «Записках». Таким образом, Абу-л-Атахию был посвящен и мой первый научный доклад, и первая печатная работа по арабской поэзии⁶⁹. Одно время я хотел даже писать о нем магистерскую диссертацию, отложив начатую работу над подготовкой к изданию дивана ал-Вава, но по совету Розена остался при первой идее. Этюд об Абу-л-Атахии положил начало серии моих работ сперва над конкретным изучением отдельных поэтов или их произведений, а затем и над арабскими теориями поэтического творчества. Мысли о последних стали у меня складываться во время пребывания на Востоке, не без некоторого воздействия систематического посещения занятий по литературе в старших классах арабской средней школы. Во всей полноте своих намерений мне не удалось осуществить, хотя тему пробной лекции я взял из этой области⁷⁰, а основным достижением могу считать издание поэтики Ибн ал-Мутацца. Очень я горюю, что не сумел завершить намеченную в связи с ней историю арабской поэтики, для которой долгие годы я собирал систематически материал⁷¹. Обе эти линии — изучение христианско-арабской литературы и арабской поэзии — были ясно видны в моей работе и для постороннего глаза уже в 1912 г.; тот же Бартольд — прозорливый историк науки — мог констатировать их как нечто определившееся в одном примечании редактируемого им «Мира ислама»⁷².

Случайно или сознательно, Бартольд не упомянул о третьей линии моих научных интересов, хотя к этому времени она тоже отчетливо обрисовалась, — изучении современной арабской литературы, которое нашло себе некоторый выход, между прочим, в том же самом «Мире ислама»^{72a}. Первое смутное ощущение этой литературы я стал сознавать очень давно, еще на грани гимназических и студенческих лет по отдельным намекам и черточкам в статьях Крымского, но основательный толчок на последних курсах университета дал случайно попавший в библиотеке бейрутский журнал «ал-Машрик», которого никто там не смотрел. Здесь я обнаружил первые для меня рассказы на арабском языке, иногда, правда сочиненные европейцами, и разные отклики на современную арабскую печать. Таким образом, на Восток я ехал уже с несколько подготовленным интересом к этой области и очень быстро убедился в необходимости ознакомления с нею европейской науки шире, чем это делал тогда Хартманн⁷³, работам которого я обязан в такой же мере, как статьям Крымского. Вначале я ставил себе только цели информации о том, что у нас, по существу, было неведомо, и первой печатной работой в этом направлении явился реферат о замечательном переводе Илиады ал-Бустани⁷⁴. Не мог я тогда не увлечься вопросом о русско-арабских литературных связях, и первый очерк был вызван смертью Л. Толстого в 1910 году⁷⁵.

Постепенно у меня росло убеждение в возможности научного исследования современной литературы в такой же мере, как и классической; еще на Востоке я подготовил набросок об историческом романе, из которого выросла моя вступительная лекция, представлявшая по теме некоторое новшество на Факультете⁷⁶. В печатном виде монография встретила очень сочувственный отклик единственного тогда крупного знатока этой области Хартманна, который советовал мне дать такие же работы о современной арабской драме и поэзии, о чем я сам по временам подумывал. Одним словом, эта линия моих интересов закрепилась рано и прочно, но и ее не удалось довести до какого-либо итога, не удалось «свести концы с концами». Причины тому были, как всегда, и внутренние и внешние; которые сыграли решающую роль, сказать трудно. Летом 1918 года, в нелегких условиях того времени, я попытался впервые подвести итог, обрисовав картину развивающейся новой литературы в восьми публичных лекциях⁷⁷. Напечатать этот обзор я, однако, не решился до восстановления сношений с арабским Востоком, которое происходило очень медленно. Я постепенно убеждался, что полнота нужной литературы может быть достигнута только при поездке на Восток, без которой все мои работы в этой области обречены на фрагментарность и случайность. Позже я увидел, что напечатание моего очерка даже в первоначальной редакции в то время представило бы немалую новизну для западноевропейской науки. Когда в значительно более сжатом виде я изложил общий очерк в 1928 г. во введении к хрестоматии новоараб-

ской литературы, и он оказался неким событием для Европы, вызвав значительное оживление и целый ряд переводов на разные языки⁷⁸.

Для меня самого, к большому огорчению, постепенно становилось ясным, что быстрое развитие литературы, при нашем отрыве от мест ее зарождения и роста, обрекает нас на отставание в ее исследовании сравнительно с Западом, где появилось много новых сил, располагавших возможностями непосредственного живого общения и пользования литературой в нужной полноте. Обзор, данный мною для «Энциклопедии ислама», в его русской обработке и в неопубликованном докладе о ней 1934 года⁷⁹, как бы завершал всю линию отказом от первоначальных планов и сколько-нибудь систематической работы в дальнейшем. Марр, когда-то на первых шагах поддерживавший меня в идеях популяризации новой литературы, на этот раз согласился со справедливостью моего вывода. Для меня этот вывод был горек в такой же мере, как в свое время отказ от занятий арабско-христианской литературой. Меня не может утешить то, что, пожалуй, ни одна из моих специальных областей не получила такого резонанса за рубежом, во всех почти странах Запада и даже среди арабов. Ясно об этом сказали и дополнения к арабской литературе Брокельманна, и новейшие арабские библиографии.

VI

Почти одновременно с тремя характеризованными линиями, но на первых порах менее интенсивно проявляясь в печати, стали развиваться у меня работы по истории науки, в основном, конечно, арабистики. Интерес к ней поддерживался очень разнообразными элементами. Сюда в самом начале влек вкус к библиографии; лекции с 1910 года уже в первых опытах содействовали общей формулировке истории отдельных областей, хотя бы в элементарном изложении. Утраты науки, которые так болезненно коснулись впервые на моей памяти в 1908 году со смертью барона Розена, приучали к ретроспективному взгляду на прошлое, как и различные поминальные или юбилейные даты, периодически помогавшие подводить итоги. Своеобразным стимулом оказалась рано замеченная связь с историей русской культуры, в особенности литературы, так же как рано возбужденный интерес к психологии художественного и научного творчества, один из толчков к которому дали популярные в свое время «харьковские» сборники под аналогичным названием⁸⁰.

К той же линии влекло завершение и издание работ некоторых умерших ученых — учителей и учеников, в чем я всегда видел свой долг. Среди них были и крупные и мелкие труды и таких гигантов науки, как Розен или Тураев, и скромных, но достойных тружеников, как некоторые мои ученики⁸¹.

Как и в других областях, интерес к истории своей науки чаще всего выливался у меня печатно в форме отдельных статей и заме-

ток. Количество их было велико, и постепенно они охватили почти всю историю кафедры в университете, всех крупнейших ее представителей⁸². Общий очерк развития русской арабистики создавался медленнее, но первые наброски шли по линии университетского курса, а прочную базу для него подводили постепенно разрастающиеся материалы для биографического словаря русских арабистов⁸³. Эвакуация содействовала оформлению первого небольшого опыта в 1943 г.⁸⁴, из которого постепенно выросла и книга, законченная в начале 1948 г.⁸⁵

Далеко не всегда эта линия работ вызывала сочувствие даже ближайших коллег. Многим, по их оценке, она представлялась наукой второго сорта, как откровенно выразился один из них, очень крупный специалист в области индийской философии⁸⁶, — научным гробокопательством дурного или извращенного вкуса. Он серьезно и не без оснований уверял меня, что, занимаясь историей науки, я врежу науке, так как отодвигаю на задний план свои собственные работы и этим задерживаю прогрессивное развитие живой науки. Моя внутренняя оценка самих тем, конечно, не успешности выполнения их мною, очень определенно говорила другое; может быть, сильнее, чем в прочих областях, я чувствовал здесь моральное веление долга перед предшественниками в науке и продолжал работу без минутных колебаний, но с длительным иногда огорчением — не за себя, а за тех, помянуть которых я хотел, считая, что это ведет к правильному пониманию всей нашей истории и культуры, к сохранению традиции, одинаково важной во всех областях науки.

Если в этой сфере по линии русской арабистики удалось подвести некоторый итог, то нельзя сказать того же об истории арабистики на Западе, в мыслях намеченной почти одновременно. Курс в университете на эту тему был читан мною неоднократно, главным образом в 1920-х годах. Был он, если так можно выразиться, конспективно оформлен, вызвав несколько монографий, тоже обыкновенно связанных с памятными или юбилейными датами⁸⁷. Постепенно накопились материалы если не для словаря, то все же для достаточно полного индекса, как бы «словника» западных арабистов, однако связного письменного воплощения в том виде, как относительно русской арабистики, это не получило. Область оказалась слишком широкой, основательных подготовительных работ, за исключением отдела голландской арабистики, почти не было, лакуны наших книжных собраний по той дисциплине, которой до меня никто систематически не занимался, чувствовались болезненно почти на каждом шагу, и много лет я ограничивался только подбором случайно встречавшегося мне материала. Опередил меня в издании аналогичной работы по истории немецкой науки Фюк (1944)⁸⁸. Когда я с ней познакомился, то все же убедился, что она не заменяет полностью когда-то намеченной мною монографии — в некоторых частях мои материалы богаче и разнообразнее. Удастся ли мне когда-нибудь привести их в удобочитаемый вид, теперь, конечно, уже сомнительно.

Таким образом, из всех читанных мною в разное время курсов я сумел в известной мере подготовить к печати кроме истории русской арабистики только обзор географической литературы⁸⁹, отчасти введение в эфиопскую филологию⁹⁰ — самый ранний и самый поздний из читавшихся мною на протяжении сорока лет — в 1910 и 1949 годах. Все остальные находятся в конспектах, разной степени подробности. Основной причиной этого оказывалось увлечение все новыми и новыми курсами, которые не оставляли времени для окончательной записи прежних, даже в тех случаях, когда они неоднократно повторялись. Иногда об этом жалеть не приходится: некоторые курсы, как мне кажется, у меня определенно не удавались, в большинстве на широкие темы. Таким я считаю введение в арабскую культуру, читанное в молодые годы неоднократно, с 1915 года. Хотя я работал над ним несколько лет с увлечением, но с самого начала считал, что эта тема не для меня, а для Бартольда, как это в известной степени оправдалось в его популярных книжках⁹¹. Этот случай был не единственным, когда я откладывал обработку своих курсов, полагая, что другой лучше осветит затрагиваемую мною тему. Еще в 1918 году я полностью написал читанное мною до этого систематически ежегодно «Введение в арабский язык». Напечатать его тогда же, конечно, не удалось, а затем мне стало казаться, что это будет сделано лучше Н. В. Юшмановым как лингвистом, и мысли о печатании я отложил. Когда вышел в свет его «Строй арабского языка»⁹², мне пришлось убедиться, как и следовало ожидать, что наши подходы совсем разные и наличие его книги не лишает права на существование и моего введения, хотя оно совершенно не лингвистического характера.

Во многих случаях я все же сожалею, что у меня не хватало времени и сосредоточенности, чтобы довести читанные курсы до завершения. Некоторые из них я очень любил, одинаково из подготовленных в начале деятельности и в конце. В истории христианско-арабской литературы, читанной мною с первых лет преподавания, некоторые части, как, например, история поэзии, остаются не аннулированными чужими исследованиями и до сих пор. Мой великий грех, что я не закончил обзорной работы о Коране вместе с его переводом, которым стал заниматься с 1920 года, когда А. Э. Шмидт переехал в Ташкент и мне пришлось вести университетские занятия в этой области.

Если я скептически отношусь к возможности для меня написать общую историю арабской литературы, читанную несколько раз с середины 30-х годов, то мне кажется, что полезной могла бы явиться история художественной литературы, которая как будто бы удавалась мне лучше. Как итог почти 40-летней работы был бы полезен и курс введения в арабистику, прочитанный впервые только в 1944 году, когда я временно оказался единственным представителем арабистики в Ленинграде, как было со мной уже раз в 1920 году. Все читанные курсы находили, конечно, то или иное отражение в отдель-

ных статьях или заметках, но довести до возможности печати мне удалось только два-три.

VII

Разбросанность моя сказалась одинаково сильно в университетских курсах и в темах научных работ, однако во всей моей деятельности на всех этапах была и строгая устремленность только в область науки. Я с большим удовлетворением выслушал на одном из редко меня удовлетворявших собственных юбилеев, как мой старший по студенческой поре коллега А. А. Фрейман⁹³ отличительной чертой у меня назвал то, что я никогда не сходил со своего пути. Здесь колебаний и неуверенности у меня не было: для меня это являлось вопросом жизни и смерти. Когда возникала мысль о другой деятельности или об изменении характера той, которую для себя я считал единственно правильной, я всегда мысленно повторял знаменитое изречение: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders»^{*}, а в более серьезных случаях даже: «Sint ut sunt aut non sint»^{**}. Никакой заслуги с моей стороны в этом не было, но не было и упрямства. Я не мог не подчиняться действующему во мне категорическому императиву, который я понял только под старость. Ведь ученый — это человек, для которого научная работа не труд и не вдохновение, не долг, не отдых и не наслаждение, а органическая потребность или, вернее, органическое свойство. Настоящий ученый не может не творить — как ароматичный цветок не может не пахнуть. Как цветок не может переменить свой аромат, так и ученый может творить по-настоящему только в той области, которую он свободно избрал. И все-таки ученый не похож на цветок, потому что творчество для него не только органическое свойство, но в то же время и труд, и вдохновение, и долг, и отдых, и наслаждение.

Основным стержнем для меня всегда была только арабская филология, но я издавна старался хоть отдаленно приблизиться к тому идеалу, который в Каире развивал передо мною Наллино⁹⁶, как я до сих пор считаю, один из крупнейших востоковедов моего времени — «в одной области арабистики я должен знать все, а во всех других — кое-что». Поэтому у меня всегда сохранялась восприимчивость ко всем открытиям и мирового, и местного значения, чего бы они ни касались. В особенности я ощущал запросы своей страны, и старые, проходившие красной нитью с начала нашей науки, и новые. Так было с подготовкой свода арабских сведений о нашей стране, в чем я не всегда принимал участие в той мере, как мне бы хотелось. При мне выплыли две большие задачи нашей науки — изучение арабской литературы на Кавказе и изучение языка среднеазиатских арабов, —

* «Стою на этом — иначе не могу» (нем.)⁹⁴.

** «Пусть будут так, как есть, или пусть не будут вовсе» (лат.)⁹⁵.

которые я старался всячески поддерживать. И в той и в другой сделано немало; во второй, при наличии хорошо подготовленных работников, мое непосредственное участие не требовалось. В противоположность этому сотрудники в изучении русско-арабских литературных связей — важной проблемы, которая была выдвинута лишь при мне, — начинают как будто бы появляться только в последнее время⁹⁷.

Очень много времени требовали у меня различные частные вопросы, которые шли со всех сторон нашей родины, а нередко не только из нее. Открытия, связанные с филологией, не могли не увлекать, а тем самым и отвлекать от прямой линии собственных работ. Так было с арабским документом из Согдианы, так было с сабейскими табличками из Йемена⁹⁸. Два этих примера показывают диапазон и разнообразие тем, на которые надо было отвечать, иногда впервые подойдя к ним. В общей сумме, однако, еще больше времени и энергии поглощали вопросы других специальностей, где были затронуты арабские материалы. Пестрота их иногда меня подавляла: здесь фигурировали и математика, и химия, и медицина, и ботаника, и фармакогнозия, и пчеловодство, и скотоводство, и вообще все области человеческого знания. Ответы на все это требовали напряженного внимания и усилий, почти никогда они не находили отражения в списке моих собственных работ. Иногда такое участие не поминалось у нас впоследствии и в тех работах, которые были основаны на сообщенных материалах, а часто мои корреспонденты не считали нужным даже сообщить о получении моих справок.

Много времени шло у меня всегда на редактуру чужих работ. В некоторых случаях, когда приходилось редактировать различные издания, так сказать *ex officio**, это обыкновенно не поглощало целиком, как было, например, в течение шести лет с «Докладами Академии наук», с некоторыми томами «Записок», «Советского востоковедения» или «Известиями Географического общества». Бывали, однако, такие периоды, когда аналогичная работа становилась основной. Так случалось, например, с переводом «1001 ночи»⁹⁹ или арабско-русским словарем¹⁰⁰. И тот и другой отнимали у меня часто не меньше пятидесяти процентов всего рабочего времени, причем работа над тем и другим в отдельности в каждом случае длилась по десяти лет. Люди, в редакции сведущие и привыкшие работать «аристократически» с целым штатом, вероятно, немало удивятся, когда услышат, что для словаря в очень значительной части издания не было другого корректора, кроме меня, как не было и никакого «технического» редактора. Печатание словаря стоило мне помимо времени немалой доли зрения. И тем не менее польза для науки и культуры позволяет об этом не жалеть, так как и «1001 ночь» и «Словарь» я считаю одними из крупнейших памятников нашей арабистической эпохи в нашей стране.

* По обязанности (лат.).

VIII

Если подводить итог моей научной разбросанности, он, как и бывает чаще всего, окажется двухсторонним. Для прогресса отдельных областей науки гораздо полезней была бы большая углубленность, сосредоточенность на меньшем количестве тем. В целом же, особенно в условиях нашей научной действительности, приходится отдавать преимущество широте. Здесь я мог бы повторить слова известного историка русской литературы И. А. Шляпкина¹⁰¹ в его автохарактеристике: «Я вижу, что разбросался в своей ученой жизни на мелочи, но думаю, что и это кому-нибудь пригодится». Сравнительно с моими старшими товарищами, учениками и неучениками Розена, отличие выступает очень отчетливо. Медников¹⁰² оказался в полном смысле *homo unius libri**¹⁰³ — человеком одного громадного фундаментального труда; других работ у него немного, и они несущественны. Шмидт сумел удержаться в основном на исламоведении, в чем и была его сила. С другой стороны, Крымский, человек, увлекавшийся более меня, принес себя сознательно в жертву пособиям и популяризации, а потому как ученый дал меньше, чем мог бы.

При подходе к моей разбросанности следует иметь в виду не только *кемнийя* — ее количественность, но и *кейфийя* — качественность. Тогда, пожалуй, в ней придется увидеть некоторую сосредоточенность. Узость моя, сравнительно с большинством западных ученых, несомненна: я всегда был только арабистом и только филологом — это основательно подчеркнул П. К. Жузе в «ал-Муктатафе»¹⁰⁴. В противоположность Розену — широкому востоковеду и, в частности, такому же крупному иранисту, как арабисту, в противоположность западным арабистам, которые обыкновенно бывают и семитологами, почти всегда и лингвистами, и литературоведами, я, если и думал по временам об эфиопской литературе, она постоянно отходила на задний план; к этой области, как я смеюсь, относится не более одной-двух работ в десятилетие.

Однако в сфере арабской литературы, если продолжить итог в том же направлении, мой охват был, пожалуй, шире, чем у рядового западного ученого. Я интересовался ею с начала до конца. Меня влекла и мусульманская литература, и христианская — сабейская, доисламская, средневековая и новая; восток халифата, и Андалус, и Кавказ; и поэзия, и географическая литература, и письменность в самом широком смысле, и наука вплоть до офтальмологии. Конечно, не я первый стал изучать новую литературу, как иногда говорят¹⁰⁵, но, может быть, я впервые ввел ее в органический круг, показав, что она реально нужна и для классической. Может быть, я впервые осветил это прошлое в живой связи с настоящим, в связи с живыми людьми. Я, как мне кажется, наглядно показал связь арабистики вообще с на-

* Человек одной книги (лат.).

шей страной. Если раньше на это смотрели только с точки зрения источников для истории, то теперь наряду с этим выдвинулись другие, имеющие право на самостоятельное существование области — и широкие и узкие, в частности, русско-арабские литературные связи. Важно было то, что обо всем этом постепенно узнавали не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому остроумной мне кажется одна из когда-то мне данных характеристик, в которой я был назван полпредом русской арабистики на Западе и на Востоке. Эту исторически сложившуюся роль я всегда считал своей почетной обязанностью и выполнял ее около трех десятилетий, пока позволяли наши дипломатические отношения. Она требовала у меня тоже очень много времени и на корреспонденцию, и на справки, и на сличение, иногда целиком, очень больших рукописей, и на специальные изыскания в наших источниках, но я об этом не жалел, потому что все обыкновенно быстро входило в науку, и мне думается, что длительный перерыв в этой линии моей работы наносит вред не только нашей арабистике, но и престижу всей нашей страны в целом.

Широта охвата при узости моей специальности нашла своеобразное отражение в одной любопытной детали. В списке цитируемых арабистов, который приложил Брокельманн¹⁰⁶ в дополнение к новому изданию своей истории арабской литературы, я оказался по количеству упоминаний на третьем месте после Вюстенфельда¹⁰⁷ и Гольдциэра¹⁰⁸ среди всех трех тысяч называемых им арабистов с XVII по XX в. Это курьезно хотя бы потому, что работы прочих — на западноевропейских языках и более доступны сравнительно с русскими. Отражение такой широты я вижу и тогда, когда расположенные ко мне ученые называют меня «le plus fort de nous»^{*} или говорят, что «il est connu des tous»^{**109}, или, как покойный Микельанжело Гвиди, считают «наиболее известным в Европе»¹¹⁰.

IX

Все благожелательные отзывы не знающих меня лично ученых говорят главным образом о том, что какое-то место на полочке с историей науки для меня нашлось, хотя из намеченных работ я выполнил едва одну пятую часть. Относить это на долю только моей неустойчивости, увлекавшей меня к новым темам и новым областям, конечно, нельзя — внешних препятствий и трудностей было очень много, начиная с того, что далеко не всегда я встречал сочувствие даже в своей собственной «ориенталистической» среде. Очень трудно было мне как арабисту чувствовать себя с двадцатипятилетнего возраста представленным, в сущности, самому себе. Из старших товарищей по специальности, пожалуй, наиболее всех стимулировал меня по своей жи-

* Самый сильный из нас (франц.).

** Он известен всем (франц.).

вости Крымский, но переписка с ним не всегда шла без перерывов. Реально я учился скорее не у арабистов, а таких востоковедов, как Марр или Бартольд, у византинистов, романистов, одно время даже у писателей-переводчиков, больше же всего по книгам. Очень было трудно, что наиболее сложные вопросы специальности я всегда должен был решать сам, но постепенно я к этому привык и не раскаиваюсь в большинстве своих решений. И здесь очень многое оправдано уже ходом времени.

Трудно переживалось мною и другое обстоятельство: у меня не нашлось прямых учеников-продолжателей, которые хоть в какой-нибудь области могли меня разгрузить. Между тем со старостью и болезнями, выводившими по временам из строя на продолжительный срок, я перестал успевать делать сам все то, что считал своим долгом ученого, и чувствовал себя все более подавленным. Винить здесь кого-нибудь не приходится — ни их, ни меня: наиболее сильной и энергичной группой моих учеников по какой-то непонятной для меня иронии оказались лингвисты¹¹¹, которые двинули эту область так далеко, как я никогда и не мечтал. Но сам-то я лингвистикой не занимался, и лингвистических работ у меня нет. Я всегда старался помочь им как мог, но им было нечего продолжать у меня. К тому же большая часть их рано умерли.

В отсутствии под старость учеников-продолжателей основную роль сыграл мой темперамент, в котором никогда не было властности, нужной для настоящего руководителя. В результате обыкновенно случалось так, что я больше увлекался работами и темами своих учеников, чем они моими. Этим я объясняю и то, что мне никогда не удавалась в должной мере организация больших совместных начинаний, о которых я часто мечтал: все они оставались обыкновенно *indigesta moles**. Я почти уверен, что такая же судьба ожидает и не оконченные мною работы; передать их некому, и в лучшем случае они лягут сырой грудой «навечно» в архив. Сознать это, пожалуй, наиболее тяжело.

Х

Всякий вывод из большого материала, по существу, бывает двухсторонним, своеобразно диалектичным. Субъективно я считаю свою научную жизнь неудавшейся по причинам, конечно, не только индивидуального порядка, которые для меня при исторической перспективе ясны, но, как говорится, от этого не легче. Однако объективные результаты моей работы я не могу не признать положительными. Наиболее важным мне представляется то, что во всей моей работе постепенно нарастала и все более прояснялась связь нашей арабистики со своей страной, связь с Западом в благородной традиции веко-

* Беспорядочной массой (лат.).

вой прогрессивной науки, связь с Востоком в энергичном движении молодого литературно-научного возрождения арабских стран. Не я был первым, кто осознал необходимость непосредственного прикосновения к каждой из этих животворящих почв, но впервые у меня, как мне думается, показана органичность такой трехсторонней связи. Я глубоко убежден, что только при внимании к этим трем основным базам наша арабистическая наука может плодотворно развиваться. Убеждение это подтверждено для меня 48 годами специальной сознательной работы над проникновением в избранную область. Полвека дает большой резонанс лет, хороший срок для надежного испытания временем. Показательно, как однажды в момент тяжелой депрессии, вызванной уничтожающей квази-критикой всей моей работы, я получил в один и тот же день утешившие меня неожиданные отклики на свою книгу из Еревана, Парижа, Бейрута.

Сделано мною мало или, может быть, вернее, меньше, чем я мог бы сделать, однако сделано нужное в свое время и балласта в этом почти не было. Кое-что с естественным движением науки за полвека устарело, но бóльшая часть вошла в жизненный обиход научной работы.

Существует одна легенда про Мухаммеда, которую передает его известный биограф Ибн Исхак. Во время своего последнего паломничества в Мекку, вероятно, под влиянием нередко овладевавшего им угнетенного настроения, он обратился раз в большом собрании с воззванием к Аллаху: «О Боже, передал ли я (что мне было дано)?» И присутствовавшие люди ответили: «О Боже, да!» Тогда Мухаммед сказал: «О Боже, будь свидетелем!»¹¹² И вот, как ни мрачно иногда представляется мне итог жизни и работы, все же, кажется, я «передал» то, что было мне дано.

Тем не менее часто я повторяю горькие слова Шаляпина: «Не удалась жизнь, не удалась!» — и, если бы я мог, я плакал бы горькими старческими слезами бессилия. Иногда вспоминается мне «Сказка о рыбаке и рыбке» — может быть, и я слишком многого желал в своей научной жизни и поэтому в наказание остался под старость с разбитым корытом.

Довольно!.. Довольно тревожить горячие раны! Их много — и старых и новых, сокрытых от глаз... Но близок конец; он их залечит. *Mors omnia sanat!* *

Примечания

Эссе И. Ю. Крачковского «Испытание временем» ранее не публиковалось; текст хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (фонд 1026, опись 2, № 62). Папка открывается титульным листом (л. 1), написанным рукой И. Ю. Крачковского: «И. Крачковский. Испытание временем (этюд из области самоанализа

* Смерть излечивает всех (лат.).

ученого). Келломаки. Сентябрь 1948. Стр. 55». Далее (л. 2—68) следует первоначальный текст эссе, напечатанный на маленьких страничках латинским шрифтом, с многими вложениями и вставками от руки **. Текст завершается пометой: «Келломаки, Комарово тож. 5—15 сентября 1948».

Л. 69—74 содержат карандашные наброски конспекта будущей работы и, очевидно, должны были предшествовать машинописному тексту. Л. 75—76 не имеют отношения к «Испытанию временем» и попали в папку случайно. Л. 77—108 содержат второй вариант текста, перепечатанный на портативной русской машинке с пометой: «Комарово. Лето 1948—1949 г.».

На л. 109 изложена история написания этого документа:

«Первые мысли об этой исповеди настойчиво стали обуревать во время долгой болезни осенью 1947 г. в санатории "Узкое" под Москвой, отчасти под влиянием перечитывания всех произведений Тургенева. Тогда же в постели на шести страничках был набросан карандашный конспект некоторых мыслей 20—22 октября 1947 г.

Весь текст, слагавшийся постепенно в течение года, под воздействием литературоведческих дискуссий об А. Н. Веселовском, был написан на латинской машинке 5—15 сентября 1948 г. в Келломаках—Комарове и перечитан 27 сентября, накануне возвращения в город. Вторично перечитан во время болезни в постели 27 ноября, третий раз перечитано с мрачными мыслями в предчувствии начала новой кампании накануне заседания 28 января 1949 г. в кабинете "о Климовиче", как всегда с некоторыми изменениями. Во время февральско-мартовских дискуссий многое обдумывалось и менялось. Во время лежания был набросан карандашом на одном листке не осуществленный до сих пор план — "Разбитое корыто" (из эпилога к ненаписанной биографии).

Вновь переписано на русской машинке в последних числах августа 1949 года в Комарове во время ремонта, когда другим чем-либо заниматься было трудно». Далее идет карандашная приписка: «Перечитано 1 сентября, разбито на главы 18 сентября».

На л. 110 — несколько фамилий рукой И. Н. Винникова; возможно, — список присутствовавших на чтении «Испытания», точно установить это, к сожалению, теперь уже невозможно — никого из них не осталось в живых. Здесь упомянуты коллеги И. Ю. Крачковского по ИВАН и Университету: китаист В. М. Алексеев, иранист А. А. Фрейман, египтолог П. В. Ернштедт, арабист В. И. Беляев и семитолог И. Н. Винников.

Л. 111—149 содержат окончательный текст 1949 г., который и воспроизведен в настоящем издании. При публикации орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными правилами.

1. А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1947.

2. И. Ю. Крачковский имеет в виду немецкого исламоведа К. Беккера (1876—1933), который в 1916 г. стал советником прусского министерства по делам культов, а впоследствии — министром. Его работы по исламу собраны в два тома «Islamstudien» (Leipzig, 1924—1932).

3. В июле 1922 г. И. Ю. Крачковский был арестован и почти полгода провел в камере Дома предварительного заключения в Петрограде на Шпалерной улице, 25. См. об этом подробнее: Долинина А. А. Невольник долга. СПб., 1994, с. 165—171.

4. Сергей Александрович Жебелев (1867—1941) — историк античного мира и археолог.

** На даче не оказалось машинки с русским шрифтом, что видно из реплики одной корреспондентки И. Ю. Крачковского, Л. В. Веприцкой (27.I.1949): «Господи боже мой, — сказала я себе, — ну кто же другой мог бы написать целую работу на латинской машинке только потому, что русская в городе осталась. И ясно так увидела Вас, — «стоит ли тревожить людей и просить их перевозить русскую машинку, я же и так обойдусь» (ф. 1026, оп. 3, № 220, л. 28).

5. Имеется в виду книга И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями», вышедшая первым изданием в 1945 г. См.: Избр. соч. Т. 1. М.; Л., 1955. С. 15—148.

6. См.: Там же. С. 98. И. Ю. Крачковский здесь имеет в виду следующие свои труды: Абу-л-Фарадж ал-Ба'ва Дамасский. Материалы для характеристики поэтического творчества. Пг., 1914; Абӯ-л-Алā' ал-Ма'аррй. Рисāлат ал-малā'ика. Изд. текста, пер. и коммент. (1932) // Избр. соч. Т. 2. М.; Л., 1956. С. 392—416; изд. текста, пер. и исследов. первого арабск. соч. о поэтике — «Книги о новом» Ибн ал-Му'тазза (см. примеч. 33); Шейх Тантави профессор С.-Петербургского университета (1810—1861). Л., 1929 // Избр. соч. Т. 5. М.; Л., 1958. С. 229—299. Пятой любимой работой стала книга «Над арабскими рукописями».

7. Древнейший арабский документ из Средней Азии (1934) // Избр. соч. Т. 1. С. 182—212.

8. К вопросу о возникновении и композиции «Рисāлат ал-гуфрāн» Абӯ-л-Алā' (1925) // Islamica. 1925. Т. 1. С. 344—356 (см. также: Избр. соч. Т. 2. С. 297—308). Впервые напечатано на нем. яз.

9. Вино в поэзии ал-Ахтала (1932) // Избр. соч. Т. 2. С. 417—432.

10. Лев Владимирович Щерба (1880—1944) — лингвист-теоретик, особенно известный трудами по общей и экспериментальной фонетике и общей теории лексикографии.

11. Очевидно, имеется в виду статья А. Ю. Якубовского «Игнатий Юлианович Крачковский как историк» (Известия АН СССР, 1945. Т. 2. № 1), где на с. 41—43 дана развернутая характеристика упомянутой работы И. Ю. Крачковского, только благодаря которой, по мнению автора, «можно было датировать как самый арабский документ, так и весь замечательный комплекс письменных и вещественных памятников, найденных в 1933 г. в замке на горе Муг».

12. По-видимому, речь идет об избрании И. Ю. Крачковского почетным членом Islamic Research Association в Бомбее (1935). Диплом об избрании в архиве И. Ю. Крачковского отсутствует.

13. Здесь подразумевается испанский арабист М. Асин Паласиос (1871—1944), автор известной работы «La escatologia musulmana en "La Divina Comedia"» (Мадрид, 1919). По его мнению, «Послание о прощении» представляет не что иное, как литературную обработку мусульманской легенды о путешествии пророка Мухаммеда в загробный мир. И. Ю. Крачковский, в противоположность Асин Паласиосу, доказывает, что основной источник «Послания» — не легенда о вознесении Мухаммеда, а Коран и что само «Послание» является остроумной пародией на традиционные мусульманские описания загробной жизни. См.: Избр. соч. Т. 2. С. 299—300.

14. Blachèr R. Ibn al-Qâriḥ et la genèse de «l'Épître du Pardon» d'al-Ma'arri // Revue des études islamiques. Années 1941—1946. Paris, 1947. С. 5.

15. Der Wein in al-Aḥṭal's Gedichten. Kulturhistorischer und stilistischer Versuch // Festschrift für Georg Jacob zum siebenzigsten Geburtstag. Leipzig, 1932. С. 146—164. Г. Якоб (1862—1937) — немецкий востоковед, автор многих трудов в области средневековой арабской литературы.

16. Разбор статей посвященного ему юбилейного тома Г. Якоб оформил в виде небольшого машинописного сборника: Bemerkungen zu der mir gewidmeten Festschrift. Kiel, 30. Juni. 1932, экземпляр которого сохранился в библиотеке И. Ю. Крачковского. Разбор статьи, упомянутой в примеч. 15, см. с. 5—7.

17. Антун Сальхани (1847—1941) — арабский филолог, профессор университета Св. Иосифа в Бейруте. Его рецензию на указанную работу И. Ю. Крачковского об ал-Ахтале см.: ал-Машрик. Т. 31, 1933. С. 389.

18. Амин Рейхани. Избранные произведения / Пер. и примеч. И. Ю. Крачковского. Пг., 1917. «Ругательная», по словам И. Ю. Крачковского, рецензия была напечатана в петроградской газете «Вечерний час» в феврале 1918 г. (запись о ней сделана И. Ю. Крачковским в дневнике 12/25 февраля 1918 г.: СПФ Архива РАН. Ф. 1026. Оп. 2. № 6. Л. 150).

19. Записки Коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР. Т. 5, 1930. Этот том был посвящен 25-летию научной деятельности И. Ю. Крачковского. См.: Долинина А. А. Невольник долга... С. 299—301.

20. Библиография печатных работ академика Игнатия Юлиановича Крачковского: (к 30-летию научной деятельности) // Труды Института востоковедения. Т. 19. М.; Л., 1936. В статье Л. И. Климовича «О "Трудах первой сессии арабистов" и "Списке работ академика И. Ю. Крачковского"» («Под знаменем марксизма». 1937. № 7. С. 178—184) содержались необоснованные и грубые обвинения в «раболепии перед буржуазным востоковедением» (с. 181), адресованные И. Ю. Крачковскому и его ученикам, а указанная библиография была названа «образцом ученого подхалимства» (с. 182). Подробнее см.: Долинина А. А. Невольник долга... С. 307—310.

21. См. примеч. 3.

22. Людмила Васильевна Веприцкая — московская писательница. О «чутье на жуликов» сказано в ее письме от 14 января 1949 г. (СПФ Архива РАН. Ф. 1026. Оп. 3. № 220. Л. 25).

23. Эркки Густаф Мелартин (1875—1937) — финский композитор и педагог, автор оперы-мистерии «Айно» (по мотивам «Калевалы») и большого количества камерных произведений.

24. Георг Август Валлин (1811—1852) — известный финский арабист, совершивший несколько путешествий по Аравии.

25. Цитата была приведена Л. В. Веприцкой в письме от 9 июля 1948 г. (л. 8).

26. Имеется в виду Мухаммед Курд Али (1876—1953) — сирийский ученый-филолог и публицист. А. Лямменс (1862—1937) — бельгийский востоковед, профессор университета Св. Иосифа в Бейруте, подвергший резкой критике достоверность мусульманской исторической традиции, в частности, достоверность канонической биографии пророка Мухаммеда. Д. С. Марголиус (1858—1940) — английский востоковед, выдвинувший тезис о поддельности всех сохранившихся до нашего времени памятников доисламской поэзии. Л. Казтани (1869—1935) — итальянский востоковед, автор грандиозно задуманного, но не доведенного до конца труда «Annali dell'Islam»; он установил, что считающиеся у арабов достоверными известия о мекканском периоде жизни Мухаммеда в большей своей части легендарны. М. Хартманн (1851—1918) — немецкий востоковед и путешественник, собиратель мусульманского фольклора; в 1876—1887 гг. переводчик германского консульства в Бейруте. Его работы по исламу отличаются социологическим подходом к вопросам истории религии, что нередко вызывало критику известных исламоведов.

27. Речь идет об испанском арабисте Э. Гарсиа Гомесе (р. 1905). М. Курд Али в *Revue de l'Academie Arabe de Damas* (vol. 9, 1929, с. 381—382) резко отозвался о его работе «Un texto arabe occidental de la leyenda de Alejandro» (Мадрид, 1929), заявив, что издание этого текста предпринято Э. Гарсиа Гомесом с одной лишь целью опорочить ислам и что работа его не имеет никакой научной ценности. И. Ю. Крачковский в своей рецензии на указанную работу Э. Гарсиа Гомеса, напечатанной в 1929 г. в журнале «Litteris», возразил против этого отзыва, написанного, с его точки зрения, «в духе, оскорбительном для целой нации» (Избр. соч. Т. 2. П. 359. Примеч. 4. Здесь же он ссылается и на благоприятную оценку работы Гарсиа Гомеса в бейрутском журнале «ал-Машрик». Т. 27, 1929. С. 869—870).

28. Николай Яковлевич Марр (1864—1934) — востоковед, лингвист-теоретик, профессор Санкт-Петербургского университета, действительный член РАН с 1912 г. С самого начала своей деятельности он уделял много внимания изучению литературы восточных христиан. По его инициативе в 1912 г. был создан специальный академический журнал «Христианский Восток», просуществовавший под его редакцией до 1922 г. Н. Я. Марр постоянно поддерживал занятия И. Ю. Крачковского христианско-арабской литературой. В частности, «только его интересу обязан своим появлением в печати суммарный каталог арабских рукописей библиотеки Зимнего дворца». См. подробнее: Крачковский И. Ю. Н. Я. Марр и памят-

ники арабской литературы // Библиография Востока. 1937. Вып. 10 (1936). С. 7—15.

29. См. примеч. 6. Отзыв Х. А. Р. Гибба (1895—1971) см.: *The Encyclopaedia Britannica*. 14 ed. Т. 1. 1929. С. 197.

30. Schaade A. Redjaz. *Enzyclopaedie des Islam. Ergänzungsband. Lieferung 4*. Leiden, 1937. С. 193—195; Ramal // *Ibid.* С. 197.

31. Яков Иванович Смирнов (1869—1918) — археолог и историк искусства Древней Руси, Византии и Ближнего Востока.

32. Эрнест Леопольдович Радлов (1854—1928) — философ, переводчик на русский язык «Этики» Аристотеля.

33. *Kitāb al-Badī' of 'Abd Allāh ibn al-Mu'tazz* / Edited from the unique Ms. in the Escorial, with introduction, notes and indices by Ignatius Kratchkovsky. London, 1935 (Gibb Memorial Series. New Series, X). Все опубликованные и неопубликованные при жизни материалы И. Ю. Крачковского, посвященные Ибн ал-Му'таззу и арабской поэтике, собраны в т. VI его «Избранных сочинений» (М.; Л., 1960. С. 9—330).

34. Шейх Тантави (1810—1861) — египетский ученый-филолог, преподававший арабский язык в Петербурге в 1840—1861 гг. И. Ю. Крачковский в 1929 г. опубликовал монографию, посвященную его жизни и творчеству (см. примеч. 6). Автограф «Описания России», принадлежавший И. Ю. Крачковскому, хранится ныне в Санкт-Петербурге, в Российской Национальной библиотеке. Эта рукопись до сих пор не издана.

35. В виду имеется неоднократно упомянутая выше книга И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями».

36. Макарий — антиохийский патриарх (ум. 1672), от которого сохранились кое-какие записи исторического содержания, а также описание его путешествия на Балканы, на Украину и в Россию, составленное его сыном Павлом Алеппским, представляющее интерес как памятник арабской географической литературы и дающее богатый материал для истории арабского языка. См.: Крачковский И. Ю. Описание путешествия Макария Антиохийского как памятник арабской географической литературы и как источник для истории России в XVII веке // Избр. соч. Т. 1. С. 259—272. См. также примеч. 62.

37. Телешов Н. Записки писателя. Воспоминания, испр. и доп. М., 1948. С. 311.

38. Тургенев И. С. Предисловие [к собранию романов] // Собр. соч. Т. 2. СПб., 1913. С. XVI.

39. Гончаров А. И. Лучше поздно, чем никогда // Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1899. С. 89—90.

40. Кр[ачков]ский И. Новый труд по истории мусульманства. Профессор С. Глаголев. «Ислам». Св. Троицкая Сергиева лавра. 1904 г. // Туркестанские ведомости. 1904. № 161 (9 ноября) и 164 (14 ноября).

41. Ибн Исхак (VIII в.) — арабский историк, составивший по приказу халифа ал-Мансура (754—775) полную биографию пророка Мухаммеда, которая (в обработке Ибн Хишама, IX в.) постепенно вытеснила прочие сочинения на эту тему. Отрывок из биографии Мухаммеда был включен в «Арабскую хрестоматию» В. Ф. Гиргаса и В. Р. Розена (СПб., 1876), широко использовавшуюся в преподавании на Факультете восточных языков.

42. Агафангел Ефимович Крымский (1871—1942) — востоковед, профессор Лазаревского Института восточных языков в Москве (1898—1918), автор ряда трудов и пособий по семитским языкам, истории арабской и персидской литератур, истории ислама и мусульманской культуры, в том числе: Ислам, его возникновение и старейший период его истории (М., 1902); Источники для истории Мохаммеда и литература о нем. Ч. 1 и 2. М., 1902—1906; История мусульманства. М., 1904. Ч. 1—2 и др.

43. Grimme H. Mohammed. Die weltgeschichtliche Bedeutung Arabiens. München, 1904.

44. Николай Петрович Остроумов (1846—1930) — востоковед, исламовед, основатель газеты «Туркестанские ведомости», которой он, по оценке И. Ю. Крачковского, «придал в известной степени характер востоковедного органа не только местного значения» (Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. 5. С. 132).

45. *Orientalische Bibliographie* — периодическое библиографическое издание, выходившее в Берлине с 1888 г. до первой мировой войны под редакцией известных востоковедов А. Мюллера (до 1892 г.) и Л. Шермана (с 1893 г.). В обзоре за 1904 г. (Т. 18. 1905. С. 298) автором рецензии значится Iv. Kr[ym]skij.

46. Василий Владимирович Бартольд (1869—1930) — востоковед, исламовед, историк Средней Азии и Арабского халифата, профессор Санкт-Петербургского университета, действительный член РАН с 1913 г.

47. Сергей Федорович Ольденбург (1853—1934) — востоковед, индолог, с 1904 по 1929 г. — неперенный секретарь Академии наук, с 1916 г. — директор Азиатского музея — Института востоковедения АН.

48. И. Ю. Крачковскому принадлежит перевод книги И. Гольдциера «Ислам» (СПб., 1911) и несколько статей по частным вопросам, связанным преимущественно с изучением Корана и историей исламоведения: Описание собрания коранов, привезенных из Трапезунта академиком Ф. И. Успенским // Известия АН. VI серия. 1917. № XI. С. 346—349; Рукопись Корана в Пскове // Доклады РАН. Серия В. 1924. С. 165—168; Значение слова ан-наджм в Коране, сура 55 // Доклады РАН. Серия В. 1930. С. 181—185; В. В. Бартольд в истории исламоведения // Известия АН. VII серия. Отделение общественных наук, 1934. С. 5—18; Перевод Корана Д. И. Богуславского // Советское востоковедение. Т. 3. 1945. С. 293—301 и некоторые другие.

49. Александр Эдуардович Шмидт (1871—1939) — арабист, исламовед, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корр. РАН с 1925 г.

50. Курс «Чтение Корана с научным комментарием» И. Ю. Крачковский вел в Петербургском/Ленинградском университете с 1921 по 1949 г. Перевод Корана на русский язык, подготовленный им в 1921—1930 гг., впервые увидел свет лишь в 1963 г.

51. Борис Александрович Тураев (1868—1920) — историк Древнего Востока, абиссиновед, профессор Петербургского университета, действительный член РАН с 1918 г.

52. С арабистикой связаны такие крупные ранние работы Н. Я. Марра, как «Сборники притч Вардана» (Т. 1—3. СПб., 1894—1899), где первая глава (Т. 1. С. 1—64) — «Лисья книга и книга лисьих притч» — посвящена специально анализу арабской версии книги и ее языковых особенностей, и «Крещение армян, грузин, абхазов и аланов св. Григорием (арабская версия)» в Записках Восточного отделения Русского археологического общества (ЗВО). Т. 16. 1905. С. 63—211.

53. Александр Александрович Васильев (1867—1953) — историк-византист, автор труда «Византия и арабы» (Т. 1—2. СПб., 1900—1902).

54. «Византийский временник» — научный журнал по вопросам византиноведения; был основан в 1894 г. по инициативе русского византиста В. Г. Васильевского (1838—1899), который и стал первым его редактором.

55. Виктор Романович Розен (1849—1908) — арабист, профессор Петербургского университета, действительный член РАН с 1890 г. Инициатор многих востоковедных начинаний, основатель первого русского востоковедного журнала «Записки Восточного отделения Русского Археологического общества».

56. Джузеппе Габриэли (1872—1942) — итальянский арабист, автор известного библиографического труда «*Manuale di Bibliografia musulmana*» (1916).

57. Василий Эдуардович Регель (1857—1932) — историк-византист и славист, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корр. РАН.

58. Крачковский И. Ю. Рец. на: Paul Peeters. Une version arabe de la Passion de Sainte Cathérine d'Alexandrie (Analecta Bollandiana. Vol. 26. P. 5—32) // ЗВО. Т. 18. 1908. С. 0106—0113.

59. В виду имеется упомянутая в примеч. 52 работа Н. Я. Марра «Крещение армян, грузин, абхазов и аланов».

60. Луис Шейхо (1859—1927) — ливанский арабист, профессор университета Св. Иосифа в Бейруте, редактор востоковедного журнала «ал-Машрик».

61. Усама ибн Мункыз (1095—1188) — сирийский эмир, известный писатель и филолог. Цитата взята из его мемуарного сочинения «Книга назидания» в русском переводе М. А. Салье (М., 1958. С. 82), где эти слова относятся к библиотеке Усамы, погибшей на корабле, разграбленном и потопленном крестоносцами.

62. Упомянутая в примеч. 36 работа была завершена в 1946 г. и впервые напечатана в 1949 г. (Советское востоковедение. Т. 6. С. 185—198). Впоследствии, в несколько расширенном виде, снабженная подробными примечаниями, она вошла в опубликованный посмертно труд «Арабская географическая литература» (Избр. соч. Т. 4. С. 687—705). Первоначальный замысел этой работы, несомненно, был шире.

В 1982 г. петербургская арабистка Г. З. Пумпян защитила по этому памятнику кандидатскую диссертацию: «Диалектизмы в "Путешествии патриарха Макария Антиохийского"» и опубликовала о нем ряд статей.

63. Арабские рукописи христианских писателей в русских библиотеках // ал-Машрик. Т. 23. 1925. С. 673—685.

64. Крачковский И. Ю. Рец. на: Georg Graf. Der Sprachgebrauch der ältesten christlich-arabischen Literatur. Ein Beitrag zur Geschichte des Vulgär-Arabisch. Leipzig, 1905 // ЗВО. Т. 17. 1907. С. 0198—0207; Крачковский И. Ю. Рец. на: Georg Graf. Die christlich-arabische Literatur bis zur fränkischen Zeit. Freiburg, 1905 // Византийский временник. Т. 13. 1907. С. 692—695.

65. Graf G. Geschichte der christlichen-arabischen Literatur. Bd. 1—5. Citta del Vaticano, 1944—1953.

66. Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Bd. 1—2. Weimar; Berlin, 1898—1900. Supplementbände 1—3. Leyden, 1936—1942.

67. Ал-Махди (годы правления 775—785) — халиф Аббасидской династии, отец занменитого Харуна ар-Рашида (годы правления 786—809).

68. Абу-л-Атахия (ок. 750—ок. 825) — придворный поэт Аббасидских халифов, особенно прославившийся стихами философско-аскетического содержания, затмившими остальные жанры его поэзии.

69. Доклад «Некоторые данные для характеристики аббасидского поэта Абу-л-Атахи» был прочитан в заседании Восточного отделения Русского Археологического общества 28 сентября 1906 г. Написанная на основе этого доклада статья «Поэтическое творчество Абу-л-Атахи» опубликована в ЗВО (Т. 18. 1908. С. 73—112 = Избр. соч. Т. 2. С. 15—51). Подробнее об этом докладе см.: Крачковская В. А. Первые шаги в науке магистранта И. Ю. Крачковского // Памяти академика Игнатия Юлиановича Крачковского. Л., 1958. С. 3—20; Долинина А. А. Невольник долга... С. 59—62.

70. Тема пробной лекции И. Ю. Крачковского, прочитанной в заседании Факультета восточных языков Петербургского университета 15 сентября 1910 г., — «Поэзия по определению арабских критиков классической эпохи». Впервые опубликована посмертно (Избр. соч. Т. 2. С. 52—62).

71. См. примеч. 33.

72. В рецензии на первый том журнала «Христианский Восток» В. В. Бартольд, утверждая, что «соединение интереса к исламу с интересом к христианскому Востоку принадлежит к числу наиболее прочных и наиболее ярко выраженных традиций русского арабизма», в качестве одного из примеров, подтверждающих это положение, указывает: «Работы И. Ю. Крачковского до сих пор были направлены частью в сторону изучения мусульманской поэзии аббасидского периода, частью в сторону изучения христианско-арабской литературы» (Мир ислама. Т. 1. № 3. С. 414. Примеч. 1).

72а. В т. 1 «Мира ислама» (1912) И. Ю. Крачковский опубликовал две статьи о современной арабской прессе: «Из арабской печати Египта» (с. 492—509) и обзор журнала «ал-Машрик» (с. 243—247), а в приложении — перевод книги египетского публициста Касима Амина (1865—1908) «Новая женщина» с под-

робным введением, посвященным истории борьбы за женскую эмансипацию на Арабском Востоке.

73. О работах М. Хартманна по новой арабской литературе см.: Крачковский И. Ю. Новоарабская литература // Избр. соч. Т. 3. С. 82, 84.

74. Имеется в виду статья «Арабский перевод Илиады» (Гермес. 1909. № 2 (28). С. 37—42 = Избр. соч. Т. 3. М.; Л., 1956. С. 335—339).

75. Крачковский И. Ю. Русские писатели в арабской литературе (Библиографическая справка по поводу кончины гр. Л. Н. Толстого) // Вестник иностранной литературы. Т. 12. 1910. с. 39—41. См.: Избр. соч. Т. 3. С. 267—269.

76. Вступительная лекция «Исторический роман в современной арабской литературе» была прочитана И. Ю. Крачковским на Факультете восточных языков 2 ноября 1910 г. Статья под тем же заголовком напечатана в «Журнале Министерства народного просвещения» (новая серия). Т. 33. 1911. Июнь С. 260—288. См.: Избр. соч. Т. 3. С. 19—46.

77. Речь идет о цикле вечерних публичных лекций («Возрождение арабской литературы в XIX веке»), читавшихся И. Ю. Крачковским в Петроградском университете во время летних каникул с середины мая по середину июля 1918 г.

78. Оде-Васильева К. В. Образцы ново-арабской литературы (1880—1925): Ч. 1. Текст / Под ред. и с предисл. И. Ю. Крачковского. Л., 1928 (Предисловие. С. I—XXV). Немецкий перевод Герхарда фон Менде с библиографическими дополнениями И. Ю. Крачковского напечатан в журнале «Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin» (Т. 30. 1928. Abt. 2. С. 180—199). Перечень рецензий на разных языках см. в книге: Игнатий Юлианович Крачковский / [Сост. И. Н. Винников]. АН СССР. М.; Л., 1949. С. 67—68 (№ 246).

79. Neu-arabische Litteratur // Enzyklopaedie des Islam, 1934. Ergänzungsband. Lieferung 1. С. 27—35. Расширенный русский вариант: Ново-арабская литература // Записки Института востоковедения АН СССР. 1935. Т. 3. С. 159—182 = Избр. соч. Т. 3. С. 65—85. Доклад «Итоги изучения ново-арабской литературы», согласно библиографии, составленной И. Н. Винниковым (см. примеч. 78), был прочитан на сессии АН СССР в сентябре 1933 г. (см. с. 140, № 131).

80. Непериодическое издание «Вопросы теории и психологии творчества» выходило в Харькове в 1907—1923 гг. под общей редакцией Б. А. Лезина, ученика А. А. Потебни.

81. И. Ю. Крачковским издано около десяти работ В. Р. Розена, в том числе: Перевод одного программно-стихотворения Абу-л-Ала // ЗВО. Т. 22. 1915. С. 291—301; Бар. В. Розен. К Фихристу I, 22 // ЗВО. Т. 23. 1916. С. 233—244; Бар. В. Розен. Образчик арабской ученой пародии // ЗКВ. Т. 1. 1925. С. 291—304; перевод «Повести о Варлааме пустынноике и Иоасафе царевиче Индийском» (М.; Л., 1947); Пробная лекция об Абу Нувасе и его поэзии // Памяти академика В. Р. Розена. АН СССР М.; Л., 1947. С. 57—71; Отрывки из очерка истории арабской литературы // Там же. С. 72—116, и др., не считая списка его сочинений и описания некоторых архивных материалов. И. Ю. Крачковский издал также две работы Б. А. Тураева: Русская наука о древнем Востоке до 1917 г. Л., 1927; и Абиссинские хроники XIV—XVI вв. // Труды ИВАН СССР. Т. 18. 1936. Среди изданных И. Ю. Крачковским трудов умерших учеников следует назвать: завершённый и откомментированный им перевод «Калилы и Димны» (М.; Л., 1934), выполненный И. П. Кузьминым (1893—1922); статью Я. С. Виленчика (1902—1939) «О работе по словарю народно-арабских диалектов Переднего Востока» (Советское востоковедение. Т. 2. 1941. С. 230—254); подготовленное А. М. Барабановым (1906—1941) издание арабского текста «Хроники Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля» (Труды ИВАН СССР. Т. 37. 1946).

82. И. Ю. Крачковскому принадлежит более 50 статей (не считая мелких энциклопедических и хроникальных заметок), посвященных различным деятелям русского востоковедения или развитию отдельных его отраслей.

83. О работе над био-библиографическим словарем русских арабистов см.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. 5. М.; Л., 1958. С. 159—160; Долинина А. А. Невольник долга... С. 269, 277—278.

84. В 1943 г., находясь в эвакуации в Москве, И. Ю. Крачковский получил от Московского университета предложение дать краткий очерк истории отечественной арабистики для предполагаемой серии «Роль русской науки в развитии мировой науки и культуры». Работа была напечатана под заголовком: Очерки истории арабистики в России и СССР // Ученые записки МГУ. Вып. 107. Т. 3. Кн. 2. 1946. С. 99—121. Подробнее см.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. 5. С. 9—10.

85. Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики. АН СССР. М.; Л., 1950 = Избр. соч. Т. 5. С. 9—192. Эта книга, посвященная столетию со дня рождения В. Р. Розена, была отмечена первой премией Ленинградского университета среди работ, завершенных в 1948 г.

86. Вероятно, в виду имеется академик Ф. И. Щербатской (1866—1942).

87. Перу И. Ю. Крачковского принадлежит большая статья «Полвека испанской арабистики» (ЗКВ. Т. 4. 1930. С. 1—32), некрологи известным европейским арабистам и семитологам: И. Гольдциэра (1923), Т. Нельдеке (1931), Г. Гофмана (1933), И. Гвиди (1936), Х. Снука Хюргронье (1937) и др., а также ряд мелких статей и заметок, посвященных европейской арабистике. Работы И. Ю. Крачковского по истории арабистики собраны в т. 5 «Избранных сочинений».

88. Fück J. Die arabischen Studien in Europa vom 12. bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts. Leipzig, 1944.

89. Работа была в основном завершена осенью 1945 г.; при жизни И. Ю. Крачковского печатались лишь отдельные ее главы. Целиком работа (40 п. л.) составила четвертый том «Избранных сочинений» (М.; Л., 1957).

90. Работа была подготовлена к печати в январе 1951 г. и посвящена памяти Б. А. Тураева. Опубликовано посмертно: Крачковский И. Ю. Введение в эфиопскую филологию. Л., 1955.

91. В виду имеются: Бартольд В. В. Ислам. Пг., 1918; Культура мусульманства. Пг., 1918; Мусульманский мир. Пг., 1922.

92. См.: Юшманов Н. В. Строй арабского языка. Л., 1938.

93. Александр Арнольдович Фрейман (1879—1968) — иранист, профессор Ленинградского университета, член-корр. АН СССР с 1928 г.

94. Этими словами М. Лютер (1483—1546) заключил свой ответ на вопрос, заданный ему на Вормском рейхстаге (18 апреля 1521 г.), признает ли он свои сочинения еретическими и отказывается от них или продолжает отстаивать высказанные в них мнения.

95. Этими словами генерал ордена иезуитов Лоренцо Риччи (1703—1775) ответил папе Клименту XIV на его предложение внести изменения в устав ордена.

96. Карло Наллино (1872—1938) — итальянский арабист, крупнейший знаток арабской астрономии.

97. В 1949 г. аспирантке И. Ю. Крачковского А. А. Долининой была утверждена тема диссертации «Русская литература XIX века в арабских странах». Диссертация была защищена в 1953 г. Впоследствии А. А. Долинина подготовила около 20 работ, касающихся русско-арабских литературных связей. В настоящее время этой темой интенсивно занимается ряд русских и арабских ученых.

98. Речь идет о найденном на горе Муг в Таджикистане и дешифрованном И. Ю. Крачковским (1934) письме согдийского правителя Дивасти арабскому наместнику ал-Джарраху (717—719) и о двух бронзовых табличках из Йемена, содержащих покаяние в нарушении ритуальной чистоты, дешифрованных им же (1931). См.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. 1. С. 182—212; 396—414.

99. Книга тысячи и одной ночи / Пер., вст. ст. и коммент. М. А. Салье. Под ред. акад. И. Ю. Крачковского. Т. 1—8. Л., 1929—1939. Полностью переиздано в 1956 г.; тома избранных сказок в том же переводе выходили неоднократно в течение многих лет.

100. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь современного литературного языка / Под ред. и с предисл. И. Ю. Крачковского. Вып. 1—4. М.; Л., 1940—1946. Выпуски третий и четвертый набирались, корректировались и частично печатались блокадной осенью и зимой 1941—1942 г. Об условиях печатания словаря И. Ю. Крачковский рассказывает в предисловии к нему (Вып. 4. 1946. С. XVIII = Избр. соч. Т. 1. С. 336). К сожалению, в последующих изданиях словаря (он переиздавался не менее 6 раз) эта часть предисловия опускалась.

101. Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — историк русской литературы, книговед, палеограф, профессор Петербургского университета. В бытность студентом И. Ю. Крачковский слушал его лекции.

102. Николай Александрович Медников (1855—1918) — арабист, профессор Петербургского университета. Ему принадлежит фундаментальный труд «Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам». Исследование. СПб., 1903. Приложения. СПб., 1897.

103. Это выражение встречается у известного римского оратора Квинтилиана (ок. 35—ок. 96) в сочинении «Об образовании оратора».

104. Пантелеймон Крестович Жузе (Бандали Салиба Джаузи) (1871—1942) — арабист, по происхождению палестинский араб. Учился в духовной академии в Казани. С 1920-х гг. — профессор Бакинского университета. Речь идет о его статье «Русский востоковед И. Крачковский и его выдающиеся труды по арабской литературе», напечатанной на арабском языке в каирском журнале «ал-Муктатаф» (1931. Т. 79. № 3. С. 330—335).

105. В книге «Над арабскими рукописями» И. Ю. Крачковский рассказывает о своем споре с немецким арабистом Г. Кампфмейером, хотевшим сделать в своей работе «*Leaders in Contemporary Arabic Literature*» (*Die Welt des Islams*. 1930. Bd. 9. Heft 2—4) под портретом И. Ю. Крачковского следующую подпись: «Первый, кто занялся на Западе новой арабской литературой» (см.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. Т. 1. С. 46—47). В дипломе почетного члена Немецкого Востоковедного общества он назван «первооткрывателем арабской современности» (1934. СПФ Архива РАН. Ф. 1026. Оп. 2. № 35). См. также: ЗКВ. Т. 5. 1930. С. VI; Беляев В. И. Академик И. Ю. Крачковский // Вестник Ленинградского университета. 1947. № 1. С. 180.

106. Brockelmann C. *Geschichte der arabischen Litteratur*. Zweite Auflage. Leiden, 1943—1949.

107. Фердинанд Вюстенфельд (1808—1899) — немецкий арабист, знаток и издатель памятников арабской исторической литературы.

108. Игнац Гольдциэр (1850—1921) — венгерский арабист, исламовед, историк арабской литературы.

109. См.: Mecerian J. *Mélanges de l'Université Saint-Joseph*. Beyrouth, 1944—1946. Vol. 26. Fasc. 4. С. 138.

110. Микельанжело Гвиди (1886—1946) — итальянский арабист, исследователь арабской литературы нового времени. Оценку деятельности И. Ю. Крачковского см. в его статье «*Orientalismo*» (*Enciclopedia Italiana*. Т. 25. 1935. С. 541).

111. В виду имеются в первую очередь Н. В. Юшманов (1869—1946), А. П. Рифтин (1900—1945), Я. С. Виленчик (1902—1939).

112. *Das Leben Muhammed's nach Muhammed Ibn Ishâk* bearbeitet von Abd al-Malik Ibn Hicham / Herausgegeben von Dr. F. Wüstenfeld. Erster Band. Göttingen, 1859. S. 969.